

ПИСЬМО ИЗ БАВАРИИ

ПИСЬМО ИЗ БАВАРИИ

... Ну что вам сказать? По-видимому, существует в природе (в природе человека?) эта болезнь: Nostalgia, Heimweh, Тоска по родине. И, как в случае с любой болезнью, некоторым удаётся её благополучно избежать, другие, переболев в острой форме, совершенно выздоравливают, а есть и такие, у которых она переходит в хроническое пожизненное страдание.

Прошлым летом в Петербурге мне попались на глаза мои собственные письма пяти- или даже шестилетней давности. Дети, когда уезжали в Германию, конечно, их оставили, и я, разбирая мои старые бумажки, письма эти аккуратно сложила и привезла обратно в Мюнхен, потому что они все-таки правдивее, чем какие-нибудь воспоминания, написанные позже. Как пишут воспоминания: перелистывают записные книжки, сосредоточенно покусывают ручку (или глядят клавиатуру) и, вперившись взглядом в потолок и в прошлое, возбуждают в себе давние чувства по поводу минувших происшествий. Или их придумывают – и чувства, и происшествия. А письма, даже если там не вся правда, всё равно честнее, на них ведь, действительно, «кровь событий». Не вся, правда... Конечно, не вся правда. Читая свои письма, удивляюсь – нигде не пишу, что первый год – это год тяжёлой болезни, не знаю, как её назвать – ностальгия, депрессия... а уж описать совсем невозможно. Когда-то, опираясь на костыли, я стояла у окна в клинике Военно-медицинской академии и смотрела, как быстро передвигают ногами снующие внизу на улице озабоченные прохожие – мне непонятно было, как это получается у людей – ходить (ничего, потом сама научилась). И здесь, в Германии, я долго не понимала, как люди смеются, жуют, пьют пиво, о чем беседуют за столиками в кафе, зачем едут куда-то в чистых автобусах, как преодолевают отсутствие смысла и жжение в сердце.

Перед нашим отъездом на кухне у меня сидел Конашенок – больной, старый, запущенный, по-прежнему сильно пьющий, одинокий и всеми брошенный.

«Ну, тогда поехали с нами», – сказала я Володе. «В Германию!? – закричал он. – Ни за что. Они убили мою бабушку. Как я могу поехать в Германию?». А я поехала, хотя отец мой погиб под Ленинградом. Ну, стреляйте теперь меня. Те, кто остались в родном краю. (Написала и спохватилась – поймала себя на этих словах, просто какой-то приём у меня получается. Старенький немец сделал мне замечание в магазине – я достала из ящика булочку рукой, а не специальными щипчиками, потому что из этих щипчиков булочка постоянно выскальзывает. Немец был абсолютно прав, но я ужасно, ужасно не люблю, когда мне делают замечания. «Dann werden Sie mich erschießen, oder...?»,¹ – спросила я его вполне вызывающе. Старик уставился на меня испуганными глазами и почти убежал – насколько могут бегать восьмидесятилетние старики, толкая впереди себя нагруженную тележку. Немцы очень боятся, что их упрекнут в дискриминации ауслендеров².) Честная подруга Лариса пишет стишок: «Покуривая в нежном холодке,/ разглядываю фрукты на лотке,/ меж тем как рядом бродят человечки,/ которые топили нами печки./ И если у судьбы на поводке/ явилась я, как будто так и надо,/ сюда за пышной кистью винограда,/ то, видимо, достойна печи ада –/не то что печки в ближнем городке». Ближний городок – это не иначе как Дахау. До сих пор еще вздрагиваю, когда читаю на указателях: Dachauer Str.³

А профессор из Петербурга, который приехал сюда с тяжело больной женой, на коммунальной кухне в общежитии сказал печально: «Хотелось использовать эту возможность – уехать в страну,

¹ Теперь вы меня расстреляете? (нем.)

² Иностранцев (нем.)

³ Улица Дахау (нем.)

где человеческая жизнь все-таки имеет какую-то ценность и убийство остаётся ненормальным явлением». Племянника профессора в Петербурге в подъезде собственного дома не убили, но искалечили, а большую жену здесь, в Мюнхене, начали немедленно лечить, и диализ уже не был такой неразрешимой проблемой.

Я смотрю в спину грустному профессору и мысленно перечисляю имена друзей и знакомых ближнего круга, убитых, избитых, ограбленных в родном городе. Ну что, вспомним по этому поводу всем известные цитаты насчет презрения к Отечеству и досады, если иностранец неосторожно разделит это чувство? Странное дело – лично у меня досада возникает, даже если это чувство попытается разделить раздраженный российскими безобразиями соотечественник. По-видимому, свойственное нам чувство противоречия находит на каждый разумный чужой довод тоже очень разумный, но наш собственный довод, опровергающий первый, – и так до бесконечности.

Например, по поводу цены жизни вспоминается мне такая сценка. В кабинете врача сидит пациент, которому нужно делать байпасс (или клапан ставить – неважно), но денег на операцию у него никаких нет, и вот пришел этот больной к врачу уже просто так, как к доброму знакомому, но в отсутствие денег абсолютно беспомощному, попрощаться собственно пришел, поскольку уезжает в Германию, где сделают ему операцию бесплатно. Врач желает ему счастливого пути и в заключение беседы задумчиво произносит: «Ну, хорошо – проживете вы еще десять лет, но ведь без Родины...». Но Родина наша – это страна молодости и здоровья. А если нет молодости и здоровья, то нужны какие-никакие денежки.

Кажется, ностальгия или, как сказал молодой психиатр, ситуационная депрессия началась у меня с первых немецких слов «Achtung, achtung!»⁴, которыми нас разбудили в пять часов утра в Нюрнберге. Кто же не помнит этих слов, так же, как и слов: *хенде хох, хальт, хайль гитлер, капут, фройндшафт, дойче убер алес, бутер, брот, цукер*. Кем-то подсчитано, что люди, совсем не учившие язык, все-таки знают довольно много немецких слов, чуть ли не больше пятидесяти, а то и ста, просто из воздуха, из литературы, особенно военного времени, конечно. Поэтому когда новые немолдые ученики уверяли в институте Гёте, мол, «ни одного слова не знал по-немецки», это они лукавили. Это мода такая среди эмигрантов распространилась – скрывать свою первоначальную немецкую базу, по-видимому, чтобы оттенить свои успехи в языке, или, наоборот, оправдать неудачи. Поэтому факт изучения немецкого языка в школе или институте скрывается. Любопытно наблюдать человеческую природу в новых условиях. Эмиграция предоставляет для этого большие возможности. Человек оказывается вырванным не только из привычной среды, но также из прежней референтной группы, из прежнего мнения этой группы, и можно, так кажется человеку, начать все сначала. Медсестра называет себя врачом, кандидат технических наук – доктором, скромный стихотворец или краевед объявляет себя лауреатом неведомых премий. Ну хочется быть человеку значительнее. Не будем осуждать, будем снисходительны, тем более, что обязательно найдется какой-нибудь свидетель прежних лет, явится и с наслаждением разоблачит.

Вообще говоря, признаемся: эмиграция, особенно теперешняя, не всегда изгнание и беда. Очень часто это расширение опыта, новые впечатления и, между прочим, новые знания, а также необходимое человеческой судьбе разнообразие. Но это понимаешь только потом, а сначала сердце разрывает непроходящая тоска, тревога, желание спешно побросать в чемодан старенькие пожитки и первым самолетом улететь в свой бедный покинутый дом. Отвлекают – довольно успешно – занятия немецким языком, молодое студенческое оживление в институте Гёте, и постепенно начинают даже просачиваться в эту депрессивную жизнь ручейки забавного и смешного.

В нашей группе было несколько молодых иностранцев. Все – милые, приветливые, очень симпатичные, но создавалось впечатление, что прилетели мы с разных планет – какое-то совершенно другое образование получили они. Ну не знает американочка, кто такой Фолкнер, англичанин не читал Байрона, с отвращением отвергают они всякую французскую шуштуру, вроде Бальзака и Флобера, но... у меня возникло стойкое подозрение, что этим англоязычным людям неведомо такое имя, как Шекспир. Вежливый красавец Джованни, владелец предприятия по разведению рыб, сказал нашему преподавателю, который отлучался из аудитории: «Вас спрашивал кто-то, вероятно, господин Гёте». Молодой итальянец, по-видимому, воспринимал Гёте как хозяина заведения. (Ну можно ли представить, чтобы в России самый распоследний

⁴ Внимание, внимание! (нем.)

двоечник не знал Шекспира, — я имею в виду, что имя он это все-таки слышал. Хотя, вспоминаю ... когда Михаил Т. не хотел жениться на своей последней жене, он такой довод приводил: она не знает, кто такой Наполеон. «Ну, это ты брось, школу-то она закончила, в школе “Войну и мир” проходили». «Когда “Войну и мир” проходили — она болела», — почему-то с торжеством выкрикнул М. Т., и все не нашлись, что ответить.)

И вместе с тем, Джованни, вероятно, успешно разводит своих рыб, и фирма процветает, вот он и немецкий приехал учить, для дела ему нужен немецкий — с клиентами разговаривать и всё понимать в контрактах, чтобы немцы ему чего-нибудь не *впарили*, так я понимаю. И пожилая португальская монахиня учит немецкий (учитель уважительно называет её — сестра Бригитта), чтобы лучше ухаживать за больными. И девушке из разорванной Югославии хороший немецкий язык необходим — она работает в Мюнхене, но знать Чехова — не обязательно, достаточно, что она, кажется, слышала про Лео Толстого.

Может быть, для торжества цивилизации и не требуется эта несчастная глубокая культура, которой так гордится тоненький слой в России. А ведь в цивилизованной (простите за выражение) стране людям легче жить, если уж вы так думаете о людях.

«Галя, а вы, вообще-то, русская?» — так, помнится, недоуменно спросила Галю Глинку старенькая и немощная уже Мария Николаевна Изергина, сидючи в кресле на веранде своего Коктебельского дома и наблюдая, как Галечка самозабвенно трудится в огороде. И действительно, Галечка — очень работающая. А национальность её, как ни странно, абсолютно русская. Вот ведь как плохо обстоит дело у русских людей с репутацией, если все вокруг, да и они сами, удивляются своему работолобию.

Немцы же, как всем известно, напротив — хорошие работники. Но и это, оказывается, часто не более чем предрассудок.

Вообще, по поводу немцев существует два основных предрассудка. Первый, что они все фашисты, а второй: они необыкновенно пунктуальны. И если с первым ничего поделать нельзя, то со вторым они борются изо всех сил. Счет за страховку не приходит, чиновник теряет важные бумаги, компьютер ошибается при начислении зарплаты, бухгалтер пожимает плечами и отрицает свою вину.

И то, что все немцы честные, неподкупные, никогда не обманывают, и даже такого слова, как «непорядочный» в их языке нет (это писатель Пьецух утверждает), тоже, как вы догадываетесь, обыкновенный миф.

С первым обманом и хамством мы столкнулись сразу же, наняв автобус-такси от Мюнхенского аэропорта до Нюрнберга. Наш водитель продемонстрировал лучшие манеры московских и питерских таксистов. Он довольно быстро домчал нас до Нюрнберга по автобану — скоростная трасса, скорость строго предписана и никуда не свернешь, — но там, в Нюрнберге, пользуясь нашей общей ослепленностью, незнанием местности и языка, бесконечно катался по городу, пока даже самые ненаблюдательные и растерянные из нас не заметили, наконец, что мы совершаем повторяющиеся круги по одним и тем же улицам, и не начали роптать. Тогда он просто остановился у того самого огромного стадиона «Цеппелин», где Гитлер принимал многолюдные парады обезумевших сограждан, расслабленно положил руки на руль, никак не реагируя на возмущенные и жалкие пiski на варварских языках у себя за спиной. А счетчик меж тем щелкал как положено. Через некоторое время он глянул на часы, почему-то решил, что «пора», и в мгновение ока подвез нас к высоченному зданию с огромными буквами «Grundig» на крыше, куда нам, собственно, и надо было. А здание это возвышалось уже давно над окрестным пейзажем. Вредный немец обманывал нас нагло и беззастенчиво.

А все-таки национальные мифы существуют. Общественное сознание не желает расставаться с этими жесткими, окостеневшими конструкциями, интуитивно руководствуясь теорией вероятности, всяческой статистикой и, скажем так, народным законом больших чисел. И когда я в Российском консульстве указываю соотечественнице на огромные круглые часы, которые давно и невозмутимо стоят, она закатывает глазки, поднимает брови, мы хихикаем и понимаем друг друга — в Мюнхене все часы работают исправно, даже самые причудливые и старинные, только в Российском консульстве всё никак не соберутся вызвать мастера.

К слову (раз уж зашла речь о нашем консульстве) — в Мюнхене, конечно, бывают очереди, ну, например, за билетами в Филармонию, если прибывает долгожданный какой-нибудь пианист или Мариинский балет, но это чинные, интеллигентные, спокойные очереди, а вот таких озверелых очередей, какие стоят в Российское консульство по январям, немцы еще не видали. Это стоят

немолодые российские граждане, тесно прижатые друг к другу, вцепившись друг в друга мертвой хваткой, — а то ведь могут и вытолкнуть — в забытом облаке богатого и звучного родного языка, слегка раздраженного в связи с обстоятельствами и пронизывающим ветром января, и слова иногда вспархивают над толпой не то чтобы очень приличные; а стоят они за справочками о том, что они еще живы и потому желают и дальше получать свои законные пустяковые пенсии на покинутой родине. Стоят, охватив друг друга за локти, слившись в единый взволнованный человеческий ком, немцы-переселенцы и евреи из культурных столиц (и провинциальных русских немцев на этот раз жалче — они живут преимущественно в маленьких городках или даже деревнях, приезжают издалека, а справки выдают только до часу дня, за один день, бывает, и не управиться, — так и уезжают, несолоно хлебавши). Изредка выходит из консульства какой-нибудь шестерочный чин — глаза полны презрения, голос тренирован на окрик «Ну-ка назад, назад, говорю, подай, ничего не знаю, в час дверь закрою, ногу убери, а ну убери ногу», дверь закрывается, бьётся в стекла человеческая мошкарa, на вопросы никто не отвечает.

Местные немцы, между прочим, стараются никого не коснуться — в толпе ли, в очереди — главное, не обеспокоить соседа, и в банках у них есть такая черта, на полу нарисована, за которую заходить не принято — подошел впереди тебя стоящий человек к стойке банка, и между вами метра три, — не меньше, не должен ты слышать и видеть, какие такие операции совершает этот человек, стой и жди своей очереди и черту не переступай. А в сберкассе — ну, теперь называется Сбербанк — на проспекте КИМа в Петербурге старушенция за моей спиной так и норовила сунуть нос в мои бумажки, сердилась, что рукав мой ей мешал, поправляла очки, вытягивала шею, «да, пожалуйста, бабушка, смотрите, у меня секретов нет...» — старушка почему-то обиделась.

... Читаю в записных книжках Фазиля Искандера: «В Германии в метро вдруг увидел лифт. Для чего это? — спросил у своего спутника-немца. Для инвалидов, — сказал он». Несколько секунд не понимаю, что удивило писателя, — забыла я, оказывается, что в Петербурге нет лифтов в метро, вот как давно я уже здесь живу, не понимаю теперь, как без этих лифтов обходятся инвалиды, старики и мамы с детскими колясками. Далее Искандер рассуждает об истинном народолюбии и заботе о человеке. И я подтверждающе киваю головой: человек здесь все равно остается человеком, даже если он преступник, наказан законом и сидит в тюрьме. Недавно появился интернетовский сайт, на котором предлагается всем желающим выставить оценки немецким тюрьмам. Заключение, их родственники и тюремные сотрудники ставят тюрьмам оценки-звездочки от одной до пяти (как отелям). Первое место занимает тюрьма «Санта Фу» в Гамбурге. Бывший зэк пишет: «В этой тюрьме очень хорошее питание, приятные комнаты, милые охранники и мягкий распорядок дня. Я надеюсь туда вернуться». Самой плохой оказалась тюрьма в Ганновере, так что старайтесь в Ганновере ничего не нарушать, — правда, еда везде хорошая. Достоинство человека — вещь важная, нельзя человека унижать. Над братской могилой расстрелянных во времена разгрома Баварской республики солдат-предателей водружен камень, на камне надпись: «У каждого из них была мать. Они достойны сожаления.» — и подпись: цех булочников. Какими, однако, благородными и человечными были эти немецкие булочники до Второй мировой.

... На стеклянную двери нашего дома (дом большой, многоквартирный, центр Мюнхена, никто эту стеклянную дверь не пинает, не бьёт, сначала меня это удивляло, потом привыкла) висит объявление:

«Am Montag den 30 Januar wird das Wasser ab 12.00 Uhr für ca. ½ Stunde abgestellt, um Reparaturen auszuführen. Danke für Ihr Verständnis».

Означает: в понедельник 30-го января с 12 часов приблизительно на полчаса вода будет отключена в связи с ремонтом. И благодарят нас (жильцов) за понимание — ну, это у них дежурная присказка.

Подумать только, предупреждают, что минут тридцать-тридцать две воды не будет. Если ремонт затянется до сорока минут, они побегут другое объявление вешать, и вообще, их взреют.

Еще больше, чем стеклянная входная дверь, поражало поначалу круглогодичное присутствие в доме горячей воды чудной чистоты и прозрачности. (Непонятно, когда они проводят «профилактические работы», как выражались в наших жилконторах, может быть, их хитрое водопроводное хозяйство не нуждается в этих работах? Загадка.)

Когда в европейском городе Петербурге отключали горячую воду на месяц, в разгар лета, объявления, помнится, все-таки вывешивали, но дата включения отплавала всё дальше и дальше,

и взволнованные люди бегали друг к другу, звонили в жилконтору и писали жалобы, не в силах спокойно дожидаться, когда же из безжизненного сухого крана со страшным рычанием и ржавыми пленками хлынет желтая, теплая, мутная, с дурным запахом вода.

В трудные раннеперестроечные времена я сдавала комнату иностранным дамам, преимущественно из Дании, пожелавшим неизвестно почему учить русский язык. Когда в июне отключили горячую воду, великодушная Лиз успокаивала меня рассказами о своей семье, которая после войны тоже жила в доме без горячей воды, и они с матерью по субботам ставили на плиту огромный чан, грели воду и мыли младших детей, и ничего, пережили как-то, и мы переживём, вот приятель её сына вообще в африканской деревне месяц жил.

Но все-таки я придумала выход – я привела Лиз ко мне на работу. Я всё еще числилась в Оптическом институте, но перешла в какой-то мифический международный отдел – с подачи кратковременного директора, бывшего нашего аспиранта Лёни Глебова (он выбран был, кстати, трудовым коллективом, были такие безумные времена, помните?), который сразу же дал мне должность старшего научного и планировал развернуть невиданной широты контакты с зарубежной наукой. И ведь действительно – развернул. Сейчас он, кажется, во Флориде, говорят, процветает, но плохо переносит жару. Так вот. В этом нашем филиале, занимавшем здание бывшей школы на проспекте КИМа, был с древних школьных времен спортивный зал – и при нем душ. Так что с горячей водой мы как-то выкрутились, правда, приходилось каждый раз подкупать охрану – институт ведь страшно закрытый. Не то что иностранец – просто посторонний человек должен был пройти всяческие тщательные проверки, прежде чем переступить порог института. Но в перестроечные дни что только не стало возможным.

И я очень радовалась, что Лиз оказалась такой неприхотливой, практически своей. Однако когда отключили еще и холодную воду, причём без всякого предупреждения, моя так стремительно обрусевшая датчанка сникла, погрузилась, примолкла... но я напомнила ей о скандинавском юноше в засушливой африканской деревне, и мы взяли ведра и пошли на кольцо всех трамваев и троллейбусов, на угол Наличной и Кораблестроителей, не такая уж окраина гордого города Санкт-Петербурга, – там колонка была. И вместе с нами с ведрами, бадейками, бидонами, а дети с алюминиевыми чайниками (где только люди их хранили), шли, перекидываясь смешочками, жители наших обезвоженных домов; и Лиз начала улыбаться и решила считать всё это еще одним русским приключением.

Так что не надо так уж сокрушаться и делать из горячей воды какой-то культ или знак недостижимой цивилизации. Тем более, что все, кое-как пробившиеся хотя бы в тонкий средний слой, поставили электрические водогреи, ну а многочисленные остальные поют друг другу частушку: «Нет воды горячей в кране – вот и лето, россияне».

... Кто-то из киношных друзей рассказывал, как в конце съемочного дня инициативная группа поехала на танке за водкой. Очень спешили – магазин должен был вот-вот закрыться. Танк остановился перед магазином. А танк-то был фашистский, со свастикой на боку, и солдаты из танка повыскакивали немецкие, с автоматами, всё сметая на пути к прилавку. Что тут началось! Какой ужас! Бабы вопли. Продавщица забилась в чулан и тоненько там выла, не хотела открывать.

Местные мужики, разобравшись, актерам прилично накостыляли.

«Вы что, мужики, тра-та-та-та, – кричали актеры, утирая настоящую кровь из разбитых носов, – совсем уже? Идиоты... Ну не было у нас другого танка... Понятно вам? Какой был, на таком поехали. А вы бы не поехали?»

Водку изрядно отметеленным киношникам в конце концов продали. Победители и побежденные вместе потом и распивали. А происходило это все в поселке Мельниково. Красивые места. Россия их у финнов отобрала.

Мюнхен. Выхожу на Одеонсплац, поднимаюсь по эскалатору.

Сверху, с площади, несется непривычный шум. Смотрю наверх, и спазм мгновенного и безумного ужаса останавливает сердце. Галерея полководцев сверху донизу украшена красными полотнищами с черной свастикой. Площадь заполнена бушующей толпой. Перед Тиатинеркирхе колышутся фашистские стяги. Идет митинг. Кричащие рты. Взметнувшиеся вверх руки.

Требуется какое-то время, чтобы я пришла в себя и сообразила, что снимают кино.

Прохожу мимо Резиденции, мимо того места, где в двадцать третьем году начинающие наци, еще без свастик и стягов, убили четырех полицейских («Хрустальная ночь» Мюнхена –

вся впереди), успокаиваюсь и даже улыбаюсь, но сердце, однако, долго стучит, и я вспоминаю воющую в чулане продавщицу.

... У них всё другое, даже нищие. Обычно они устраиваются рядом с банками или закуточными. Один такой нищий, неряшливый мужик средних лет, по виду – чистый пропойца, сидел постоянно перед «Макдональдсом». Однажды я прохожу мимо и вижу на асфальте его шляпу с мелочишкой на дне (но есть и некрупные купюры), вижу его подстилку, а самого его нет. Он стоит за прозрачным стеклом – ест гамбургер, пьёт кофе. Оставил ненадолго рабочее место. У него пауза, как здесь говорят, то есть обеденный перерыв. На его шляпу с деньгами никто не покушается, а кто-то на роликах, прокатываясь мимо, даже бросает монетку. Так что – процесс идет.

Другой нищий обосновался рядом с Постбанком на Зонненштрассе. На асфальте лежат костыли, между ними шапочка для подаяний. Нищий – молодой, чистенький, лицо гладкое, сидит на каменной тумбе, закинув одну ногу (увечную?) на другую, оживленно и весело болтает с кем-то по мобильному телефону. Но монетки кидают – если просит, значит ему надо. Никто не осуждает.

Вспоминаю нищую бабу в Петербурге. Я часто видела её в метро, в том месте, где людской поток, миновав изогнутый переход от «Гостиного двора» к станции «Невский проспект», спускался на несколько ступенек вниз. Вот тут она и сидела – на голом, заплеванном каменном полу, задрав выше колен свою рванину, чтобы все видели её голые толстые ноги в синих и красных, ужасных каких-то, пятнах. Народ пугливо огибал её, а одна тётка все-таки приблизилась ... и свирепо в неё плюнула. Иногда юнцы с ней заговаривали, кричали гадости, подталкивали к ней вырывающегося чахлого малолетку. Но чтобы денежки какие-нибудь подавали – этого не было. Непонятно, как только её толпа не затапывала. А, может быть, потом и затоптали. В конце концов она куда-то исчезла.

Кстати, недавно узнала, что в Москве популярна у богатых игра в нищих и бомжей. Стоит, между прочим, как я слышала, довольно дорого, пять тыщ (ну, долларов, конечно). Толстосумов переодевают в лохмотья, особо гладких здоровяков гримируют, наводят на лица синюшность и болезненную одутловатость, глаза окружают трагическими тенями, а губы скорбными складками, и подвозят этих обитателей «дна» к платформе в час пик, когда из города в ближайший пригород возвращается уставший рабочий люд, рассаживают и дают последние наставления. Наконец, приходит электричка, вываливается на платформу мрачная и темная толпа. И всегда находятся в этой толпе такие люди, которые бросят в протянутые руки, коробочки и шапки какую-нибудь мелочишку.

Выигрывает (это ведь всё-таки игра, и есть в ней соревновательный элемент) тот, кто больше всех нашибает денег.

Организует такие представления некий Князев (имя забыла, но фамилия точная). Он владелец и вдохновитель замечательно процветающей фирмы. Они с фантазией работают. Например, вот так. Провинциального водителя останавливает на подъезде к Москве гаишник, журит его за то, что машина грязная, и даёт сто рублей, чтобы машину помыл. Едет дальше. Через некоторое время снова останавливают. На этот раз гаишник говорит, что нельзя за рулем быть таким лохматым, и даёт снова сто рублей, чтобы постригся. Чуть проехал – снова тормозят. ГАИ (т. е. теперь это называется ГИБДД – жуткая аббревиатурка, говорят, снова переименовали?...) вместе с милицией. Милиционер протягивает сто рублей – а время предновогоднее. «Купи, – советует, – подарок жене».

Вот такая акция. Богатеи платят три тыщи долларов, чтобы поиграть роль гаишника или милиционера, дешевле стоит, чем роль нищего, расходы фирмы, видимо, поменьше.

... Кажется, одного слова «воруют» уже недостаточно для краткого описания России – пожалуй, следует добавить «врут». Хотя... воровство подразумевает враньё, обман, умение прикинуться порядочным, честным. Причем врут – ну все поголовно. Бессребреница и смелая женщина Новодворская в передаче радио «Свобода», желая защитить героя капиталистического труда Чубайса от нападок непросвещенного слушателя, поучает этого бедного как на карман, так и на голову человека: «Не ищите святости там, где речь идет об экономике». И в горле моём застревают жалкие слова (порядочность, ха-ха, нравственность), потому что эта пламенная революционерка повторила буквально слова бандита-банкира, вышедшего на крыльцо к рыдающим и ограбленным вкладчикам – не побоялся, – а чего, собственно, бояться, когда рыдают одни глупые женщины

и недоумки, да и охрана рядом. «Нельзя говорить о порядочности, когда речь идет о деньгах», – так сказал толпе надутый чиновник банка «Национальный кредит», удачливый комсомольский жокал в былые времена. А вы хотите, чтобы народ жалел олигархов.

Московских мальчиков выгнали из американского университета за пользование шпаргалками во время экзамена, они выкручивались, старались оправдаться, ссылались на русский менталитет, но ничего не помогло. Рассказывают, что много лет назад новым эмигрантам из России выдавали в Нью-Йорке талоны на обувь, быстрые разумом невтоны, выращенные на просторах родины чудесной, сообразили – набирали коробки с разнообразными ботинками и мчались продавать на гаражный рынок, пока наивные американцы не догадались талоны на выходе отнимать. Здесь в Германии те же невтоны замечательно используют доброту и благотворительность доверчивых немцев. (Богатая же страна. Иду, например, к помойке, вся увита, между прочим, розами – не я, разумеется, а помойка – выбросить мусор и вижу хорошенькую лампу, то есть о такой именно и мечтала, и записочка приклеена, что это, мол, подарок и es funktioniert⁵. А приятель мой на том же маршруте, на крышке помойного чистенького бака нашел полный комплект компьютера: и процессор, и принтер, и монитор, и рядом в целлофановом пакетике лежали описания, и, опять же, сопроводительная записочка с советами и рекомендациями.) Да, так вот, хитроумные невтоны дают объявления во все газеты, что примут в дар в силу печальной своей обездоленности и мебель, и посуду, и любую одежду (но новую). И немцы несут и несут. А невтоны меж тем разбогатели (можете уже и догадаться, каким образом) и сняли специальную квартиру, куда поселили якобы бедных, а на самом деле удачно актерствующих людей с многочисленными детьми, и немцы, пришедшие с дарами, ужасаются невиданной нищете, всплескивают руками, исчезают, обзывают всех друзей, собирают еще какие-то вещи, и бизнес ширится и растет. А находчивые руководители, веселые невтоны, уже кормят целую армию продавцов, которые всем этим добром торгуют на еженедельных фломарктах («фло» – по-немецки – блоха).

...Соотечественников можно узнать сразу – даже на большом расстоянии, в метро, на улице, в магазинах. Не знаю, почему – по одежде (хотя все, как говорили раньше, вполне «прикинутые»), по манере двигаться, по прическам, по выражению лица, по движению губ. Но это как раз понятно – лингвисты утверждают, что при говорении на разных языках работают разные группы лицевых мышц. Глаз это видит. Мужчин из России определить не так просто, как женщин. Мальчиков и девочек почти невозможно, даже тех, кто приехал совсем недавно.

Как-то в Париже Катя бросилась к двум квадратным теткам, тащившим тяжеленные сумки, спрашивать дорогу. Тетки шарахнулись от нас в ужасе. Я остановила Катю: «Ты что, это же наши люди». Впрочем, особой заслуги моей здесь нет – кроме квадратности, у теток были еще и золотые зубы, а лица отличались специфической недоброжелательностью. Европейские старушки, напротив, любезны и разговорчивы. Мы жили почти в центре Парижа, недалеко от улицы Вожирар, той самой, по которой Д'Артаньян въехал впервые в город. Поутру, выходя из гостиницы, Катя обычно обращалась к какой-нибудь старушке с разными вопросами, и не знаю уж, на каком языке мы разговаривали, но старушки долго не хотели нас отпускать. Так мы и стояли на парижской улице (rue Varotme), на краю сточной канавки (по ней быстро текла вода, может быть, канавка существовала с давних средневековых времён), припекало октябрьское приятное солнце, и неловко было оборвать оживленную старушку.

А в Мюнхене, если вы медленно бредете с картой в руке, явно разыскивая нужное вам место, обязательно подойдет какой-нибудь немец: «Могу я вам помочь?» Не знаю, все ли немцы такие, но баварцы очень любопытны и общительны.

Ищу на окраине Мюнхена дом друзей, никогда здесь раньше не бывала, и оказываюсь в какой-то немецкой Тмутаракани, среди тишины и безлюдных улиц, и спросить некого. На перекрестке я остановилась, разглядывая мелкую карту. Из дома напротив вышел человек, направился ко мне и вместе со мной стал карту рассматривать и водить по ней пальцем. Вдруг хлопнул себя по лбу, кинулся обратно, закричал по-немецки «забыл очки, счас вернусь», и действительно, скоро вернулся с очками. Но тут оказалось, что карта моя не только очень мелкая, но и крайне не полная. Человек снова побежал домой и принес толстый том – атлас здешних мест, и мы, наконец, быстро во всем разобрались. Не надеясь на мою понятливость, он начертил на листочке (из дома захватил) план, нарисовал опознавательные домики (школа, магазин,

⁵ Работает, исправна (нем.)

кирха) и проставил стрелочки. Помахал на прощанье рукой – «Алес гуте». «Иннен аух, – ответила я, – унд филен, филен данк!»⁶.

...В красивом провинциальном городке на берегу Штарнбергского озера гостя из Москвы зашла в маленький ювелирный магазинчик выбрать себе серёжки на память, чтобы вспоминать в Москве эту весну, эту цветущую Баварию, где каждый балкончик и каждое оконце так хотят тебе понравиться. Магазинчик почти пуст, улыбчивая молоденькая продавщица очень старается, раскрывает все коробочки и закрома. Прибегают другие продавщицы, тоже молоденькие и милые, ташат какие-то дополнительные зеркала, чтобы клиентка рассмотрела себя со всех сторон. Потом кто-то предлагает выйти из магазинчика на улицу – посмотреть, как сияют при солнечном свете красненькие камешки. И когда иноземная гостя в новых сережках, очень довольная, отправляется к своему временному пристанищу, продавщицы еще долго машут ей вслед прощальными руками и кричат: «Классе, кууль, тооль, аусгедайхнет...»⁷ Почему они это делают, почему так сияют улыбками? Нет ли здесь притворства? О, мы подозрительны, мы не верим в простую человеческую доброжелательность.

Звоню из Мюнхена в Россию, в Петербург, в некое чиновничье управление. Снимают трубку. Спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, это Управление такое-то?» «Почему вы звоните во вторник?» – кричит в ответ молодой злобный голос. «А когда я должна звонить?» «У нас приемные дни только понедельник и среда». «Извините, я не знала, могу я задать вопрос, я звоню из Германии». «Ну и что, что из Германии?», и связь обрывают. Ну почему, почему нет у наших чиновников и чиновниц уроков формальной любезности, почему их никто не учит владеть своим голосом и интонацией и говорить нормальные человеческие слова. И это при таком расцвете в России черного и белого пиара и всяких имиджмейкеров.

Ну и что из этого следует? Да ничего не следует, кроме того, что лично мне больше по вкусу любезность, пусть даже и не очень искренняя, чем откровенное недоброжелательство и хамство.

С другой стороны, неизвестно еще, отдаст ли немец последнюю рубашку в том смысле, что «сам погибай, а товарища выручай», а русский отдаст и выручит.

«Да ничего подобного, – кричит Ирина, – а вот не хочешь: только ты уедешь, он в дачу твою залезет, украдет всё, что осталось, всё, что можно еще украсть, подушки потопчет, разрежет, пух по веранде раздует и над всем этим безобразием твой старый зонтик раскроет – это для смеху, юмор такой».

«И то верно. Но рубашку последнюю свою отдаст».

«Рубашку отдаст», – соглашается Ирина.

Я часто встречаю немцев, сердца которых ранены Россией навсегда, они учат русский язык, чтобы читать сами знаете кого. К моему удивлению, кроме Толстого и Достоевского, они читают еще и других кое-каких классиков – пожилой читатель (не славист) досадует на Гоголя, зачем он свою повесть «Вий» исправлял и переделывал, испортил только, первая редакция русского немцу, видите ли, больше нравится. Однако, оказывается, они знают и современную литературу. Мы устраивали в Мюнхене вечер Татьяны Бек, и немецкая девушка Лиза, владелица частной шпрахшале⁸, предоставившая нам бесплатно своё помещение, удивленно раскрыла глаза: «Как, это дочь Александра Бека?» Сама Лиза говорит по-русски практически без акцента (она как раз – славистка) и всё-всё читает, все наши толстые журналы. Мы как-то обсуждали эту странную русскую болезнь у немцев. Где причина и где следствие. То ли русский вирус непостижимыми путями проник в немецкое сознание, и они поэтому стали учить язык, то ли изучение русского языка накладывает на них узнаваемую печать русской прелести и русского разгильдяйства. Лиза щедра, неугомонна, эмоциональна, очень образованна и абсолютно непрактична.

В доме у Мартины висит на стене портрет графини Шарлотты фон Ливен («моя урурур-гроссмуттер»⁹, – говорит Мартина), статс-дамы Екатерины Второй, руководившей образованием детей императорской семьи. Подлинник в Эрмитаже, в Петербурге. Вся грудь у Шарлотты в российских орденах. На другой стене портрет барона Мантойфеля, генерала, участника Крымской войны. И показывая портреты других своих предков, Мартина всегда подчеркивает: «Вот видите,

⁶ Всего доброго! – И вам тоже. И большое, большое спасибо! (нем.)

⁷ Прекрасно, замечательно! (нем.)

⁸ Школа изучения языков (нем.)

⁹ Пра-пра-прабабушка (нем.)

на них российская военная форма. Они честно служили России». И я не сомневаюсь. Слово «честь» она произносит так естественно.

Стоим с друзьями на платформе У-бана¹⁰, ждем поезда. Подходит какой-то молодой человек – услышал русскую речь. Он работал несколько лет в Москве, хочет поговорить по-русски. Приближается наш поезд, человек успевает только произнести: «Россия – это душа». Буквально так. И мы уезжаем, уплываем за стеклами вагона.

В Мюнхене проходит конференция «Физика лазеров», приехали мои друзья, мои бывшие коллеги, между прочим, из Миннеаполиса. Таким маленьким стал земной шар. В вагоне метро болтаем по-русски. Подходит девушка, она была в России. «Ах, русский язык такой трудный, но в России так тепло. Здесь этого не хватает», – признается она. В руках девушка вертит птичье перо, оно вот только что упало ей с неба, пролетающая птица уронила. Мне хочется сказать ей что-нибудь приятное. «Это – к счастью», – говорю я, указывая на перышко (понятия не имею, существует ли такая примета). Протягивает мне с радостной улыбкой: «Возьмите». Я энергично трясую головой: «Нет-нет. Это именно ваше счастье». Вообразите только – она готова отдать мне своё счастье.

...Природы в Баварии очень много. Когда едешь на чистом, удобном поезде из Мюнхена, допустим, в сторону Гармиш–Партенкирхе через огромные незаселенные пространства, и на горизонте постепенно вырастают величественные Альпы, совершенно не понимаешь, как мог Гитлер задурить голову этому работающему народу и внушить ему дикую мысль двинуться на Восток завоёвывать далёкие земли. Наши бедные селенья. Говорят, что солдаты, вступившие в ненавистную Неметчину, тоже очень удивлялись красоте и богатству немецких деревень, качали головами и задавались тем же вопросом: *ЗАЧЕМ?* И леса здесь настоящие, дремучие и полны грибов. Пошли мы как-то в лес по грибы. Набрали полные корзинки – белые, опята, лисички и какие-то пластинчатые для соленья. Выходим мы из леса, а дорогу нам преграждают двое полицейских и просят предъявить грибы. Первая мысль – мы что-то нарушили. У них ведь на всё нужно разрешение. Например, для ловли на удочку разрешение получить довольно трудно. Соискатель должен сначала прослушать курс про рыб – какие породы водятся в Германии вообще и в Баварии, в частности, когда у них наступает зрелость, когда нерест и т. п., потом сдать экзамен, и только тогда напяливай червяка на крючок. Вполне может быть, что насчет червяков тоже существует какое-нибудь правило. Вот и для грибов, наверное, нужен какой-нибудь документ. Полицейские – старый, в очёчках, очень серьёзный, и молодой, ухмыляющийся, с грибным справочником, – осмотрели и обнюхали каждый гриб, сверяясь с этим справочником. Пожилой полицейский иногда неодобрительно взглядывал на молодого: кажется, ему не нравилось весёлое лицо коллеги. Все наши грибы оказались доброкачественными, и нас с миром отпустили и на прощанье даже поулыбались удивленно и уважительно. Хотелось мне им сказать: «Не учи коту ученого...», да что связываться с немчурой...

У ног полицейских, на обочине, слабо светились кучи бледных поганок.

Оказывается, в Мюнхене было много отравлений грибами, вот и поставили полицейских на всех выходах из леса. Забота о человеке – уважаемому Фазилу Искандеру на заметку. Так что – приезжайте. Приезжайте осенью. Пойдем за грибами. Прекрасные здесь леса, прекрасные. Да что говорить, хороша земля Бавария...

¹⁰ Метро (нем.)